



Timur Timur

Долина туманов

<https://litres.ru/74630298>

SelfPub; 2026

Аннотация

Индокитай. Война, растворенная в густых туманах рисовых полей и бесконечных муссонных дождях.

По разные стороны фронта - два молодых человека, чья история сделала врагами. Французский лейтенант, приехавший на чужую землю в поисках отваги и чести, и вьетнамский крестьянин, взявший в руки оружие, чтобы защитить свой дом от колонизаторов. Они не знают друг друга, но их судьбы - это два зеркала, отражающие одну и ту же войну.

Это жестокая и пронзительная история о войне без романтики. О том, как абсурд и кровь стирают грань между добром и злом, заставляя совершать предательство из животного страха и искупать вину ценой чужой жизни. Их пути неизбежно пересекутся в мясорубке Дьенбьенфу, где выжить - значит лишь немного отсрочить свою гибель.

Timur

Долина туманов

Глава 1. Река Дай

Я помню, как пахло в порту Хайфона в тот первый вечер. Запах был густым, почти осязаемым — смесь гниющих манго, рыбного соуса, нагретого за день металла и какой-то сладковатой гнили, поднимавшейся от воды. Пахло так, будто сам воздух здесь варили в огромном котле вместе с водорослями, углём и чужими жизнями. Я стоял у борта транспортного судна, сжимая в руке вещмешок, и смотрел на огни порта, дрожавшие в тёмной воде. Мне было двадцать два года, я был лейтенантом французской армии, и я ещё не знал, что через несколько месяцев впервые убью человека.

Корабль доставил меня из Марселя в Сайгон, а затем, после трёх дней карантинной неразберихи, — в Хайфон. В Тонкин я прибыл в марте 1951 года. В моих документах значилось: «Лейтенант Антуан Леконт, колониальный парашютный батальон, направлен в распоряжение командования войсками Северного Вьетнама». На деле же я был всего лишь одним из тысяч молодых офицеров, которых метрополия отправляла в эту войну, как отправляют письма без обратного адреса. Война в Индокитае шла уже шестой год, но во Франции её называли не войной, а «операциями по поддержанию

порядка». Я подписал контракт, потому что хотел доказать отцу, что я не трус, и потому что в Лионе меня ждали только пыльные аудитории юридического факультета и скучные воскресные обеды у тётушки.

Порт встретил меня суетой. Грузчики-вьетнамцы, низкорослые, в чёрных хлопковых штанах, двигались между ящиками с боеприпасами и мешками риса с какой-то сонной, но точной грацией. Их босые ноги шлёпали по мокрым доскам причала. Крики на французском, на вьетнамском, на арабском — в колониальных войсках служили алжирцы, марокканцы, сенегальцы, — всё это сливалось в один гул. Я сошёл по трапу, и жара ударила по мне, как мокрым полотенцем. Китель мгновенно прилип к спине. Я почувствовал, как по вискам стекает пот, солёный, как вся эта чужая земля.

Меня встретил пожилой сержант с обветренным лицом и выцветшими голубыми глазами. Он представился: «Сержант Маршель. Пойдёмте, мой лейтенант. Машина ждёт». Он говорил медленно, чуть гнусавя, как говорят люди, привыкшие перекрикивать ветер и дождь. Я и другие бойцы поехали в кузове грузовика по дороге, обсаженной бамбуком. Сквозь щели в бортах я видел рисовые поля, залитые лунным светом. Вода в них стояла ровно, как на блюде, и в ней отражались редкие звёзды. Мир казался покойным и нереальным, как декорация.

Казарма, куда меня определили, находилась на окраине Ханоя. Это было старое колониальное здание с облупившей-

ся жёлтой штукатуркой, с широкими верандами и вентиляторами под потолком, которые лениво перемешивали душный воздух. Внутри пахло табаком, потом и дешёвым мылом. Моя комната была маленькой, с железной койкой, москитной сеткой и письменным столом, на котором стоял оловянный подсвечник. Окно выходило во двор, где росли два манговых дерева. По ночам где-то в городе, плакал ребёнок, и этот плач казался мне голосом самой вьетнамской столицы — древней, равнодушной, усталой.

Первые недели прошли как в тумане. Я учился понимать местную речь, различать на слух выстрелы, отдаваемые вдалеке, и взрывы, которые по ночам были похожи на дальние раскаты грома. Днём мы проводили учения, маршировали по окрестным деревням, наводили переправы, но настоящей войны я ещё не видел. Я видел только её следы: обгоревшие остовы машин на обочинах, крестьян, которые отводили глаза при нашем приближении, и детей, которые бежали за нами, прося конфеты или сигареты.

В Ханое было много таких, как я, — молодых офицеров, прибывших сюда с романтическими представлениями о чести и долге. Мы пили дешёвое вино в уличных кафе, спорили о том, кто виноват в этой войне, и писали письма домой, стараясь не упоминать о страхе. Сержант Маршель называл нас «молочными поросятами». Он воевал здесь с сорок шестого, прошёл десятки засад и налётов и знал, что от тоски и жары погибает не меньше, чем от пуль.

— Запомните, мой лейтенант, — сказал он мне однажды вечером, когда мы сидели на веранде и смотрели на закат, окрасивший небо в цвет старой меди. — В этой стране нельзя верить ни картам, ни проводникам, ни погоде. Здесь даже земля воюет против тебя. Болота, лианы, малярия. А человек... человек здесь — самая ненадёжная вещь. И свой, и чужой.

Я не понимал его тогда. Я думал, что он просто устал. Мне казалось, что война — это ясное дело: есть враг, есть цель, есть приказ. Я вырос в тени другой войны, той, что закончилась всего шесть лет назад. Мой отец прошел ту войну под руководством генерала де Голля. А я, четырнадцатилетний мальчишка, оставался с матерью в Лионе и как мог помогал бойцам Сопротивления. Та война была понятной. Враг был очевиден, цель — ясной, и даже страх имел смысл, потому что мы знали, за что рискуем. Я представлял себе войну как нечто определённое, почти благородное — как продолжение той борьбы, только в другом месте. Через несколько месяцев я узнал, что в Индокитае всё было иначе.

В конце апреля меня перевели в сектор Ниньбинь, к югу от Ханоя, где река Дай лениво текла между известняковыми скалами и заливными полями. Генерал де Латтр, командовавший французскими силами, укрепил линию обороны вдоль этой реки. Говорили, что вьеты готовят большое наступление на дельту. Наша задача была простой: удержать позиции.

Лагерь располагался у подножия холма, поросшего густым кустарником. Вокруг стояли деревни, где жили крестьяне. Они работали на полях по колено в воде, сажали рис, ловили рыбу, гнали на базар уток и свиней. Когда мы проходили через деревню, женщины прижимали к себе детей и отворачивались. Мужчины смотрели на нас пустыми глазами. Я не мог понять, чего в этих взглядах больше — ненависти или покорности. Мне хотелось сказать им: «Я не хочу вам зла». Но я уже знал, что мои слова ничего не изменят. Мы были оккупантами, как бы мы это ни называли.

В середине мая пошли дожди. Река Дай вздулась, вода стала жёлто-коричневой, как чай с молоком. Дороги развезло. Наши патрули возвращались мокрые до нитки, злые, молчаливые. В ночь на 17 мая мы впервые слышали артиллерийскую канонаду севернее нас. Это было похоже на далёкий гул, от которого дрожали стёкла в окнах. Наутро пришёл приказ: части Вьетминя форсировали реку Дай в нескольких местах. Наш батальон подняли по тревоге.

Помню, как я впервые надел на себя всё снаряжение — каску, ремень с подсумками, автомат МАТ-49. Он был холодным и тяжёлым, как чугунная болванка. Сержант Маршель проверил мои магазины, затянул ремешок каски, хлопнул меня по плечу.

— Не высовывайтесь, мой лейтенант. И не геройствуйте. Геройство здесь — это умереть на двадцать минут раньше. Мы выдвинулись колонной на северо-восток. Ночь бы-

ла душной, влажной. В небе не было луны, только редкие вспышки зарниц. Дорога шла через рисовые поля, но мы двигались по дамбе, чтобы не увязнуть в грязи. Впереди шли алжирские стрелки, за ними — взводы европейцев. Я шёл со своим взводом, впереди — связной, сзади — пулемётчик. Под ногами хлюпала вода. Где-то справа, за тёмной стеной бамбука, пронзительно кричала ночная птица.

Первый бой я запомнил не глазами, а телом. Сначала — свист мины. Этот звук входит в тебя, как игла, — тонкий, нарастающий, а потом земля встаёт дыбом в двадцати метрах впереди. Я упал ничком в мокрую траву, и меня накрыло горячей волной воздуха, смешанной с песком и запахом сгоревшего пороха. Потом — крики. Чужие и свои. Кто-то орал: «Стрелки! Вперёд!» Где-то левее ударил наш миномёт, ответ — сухой треск автоматов.

Я поднялся на колени, не понимая, куда бежать. В темноте мелькали фигуры — маленькие, в чёрных одеждах, с касками из листьев. Они выскакивали из бамбуковых зарослей, как призраки, и исчезали. Пули пели над головой, срезая листья, которые падали на меня, как зелёный дождь. Я вскинул автомат и нажал на спуск. Очередь ушла в темноту. Приклад толкнул плечо. Я не знал, попал ли в кого-нибудь.

Потом — взрыв гранаты. Меня завалило комьями земли. Я вскочил, хрипя, сбил каску, плюнул глиной. Передо мной на земле лежал солдат моего взвода, алжирец по фамилии Каддур. Он был ещё жив. Его нога была разворочена ниже

колена, белая кость торчала из чёрной крови. Он смотрел на меня и шептал что-то по-арабски. Я упал рядом с ним, попытался перетянуть ногу жгутом, но руки тряслись, кровь была липкой, как сироп. Каддур всё шептал, а потом замолчал. Я не узнал его имени, хотя он служил в моём взводе уже месяц.

Бой шёл всю ночь. Вьеты накатывали волнами, откатывались и снова накатывали. Наш батальон держал дамбу. К утру, когда небо на востоке стало цвета разбавленного молока, всё кончилось. Враг ушёл, растворился в зелёном море риса. Мы остались на залитой водой насыпи, среди трупов и раненых. Я сидел, привалившись спиной к мешку с песком, и смотрел на свои руки. Они были чёрными от грязи и крови. Я не мог пошевелить пальцами. Сержант Маршель подошёл, сунул мне в рот сигарету, поднёс зажигалку.

— Первый раз? — спросил он.

Я кивнул, не в силах говорить.

— Ничего, — сказал он. — Хуже будет потом. Когда поймёшь, что жив.

От его слов мне стало почему-то легче. Я затаился. Табак был грубым, едким, но дым обжёг горло, и я почувствовал, что ещё дышу.

Днём, когда мы возвращались на позиции, я впервые увидел реку Дай при свете. Она была огромной, спокойной, равнодушной. По её поверхности плыли ветки, клочья пены, а у берега, среди стеблей тростника, покачивался мёртвый буйвол. Над ним уже кружили птицы. Я подумал, что эта река

видела сотни таких боёв и ещё увидит сотни. Ей не было дела до того, кто победил и кто погиб. Она просто текла к морю, как текла тысячи лет назад.

Через неделю я написал письмо матери. Я не рассказал ей о Каддуре, о крови, о том, как я стрелял в темноту. Я написал, что у меня всё хорошо, что кормят нормально, что погода жаркая. Я написал, что река Дай очень красива на закате, и это было правдой. На закате она действительно была красива — цвета расплавленного золота и старой бронзы, как дешёвая картина, которую продают на набережной Сены. Только от неё пахло не масляными красками, а тиной, гнилью и порохом, осевшим в листьях.

Я не знал тогда, что это было только начало. Не знал, что впереди меня ждёт не одно сражение, и что из тех, с кем я пил вино в Ханое, мало кто вернётся домой. Я понимал лишь одно: отныне свист мины навсегда останется во мне — не как воспоминание, а как дрожь, вшитая в позвонки, как судорога, которая будет просыпаться раньше сознания при любом резком звуке. И что этот запах — гнилостный, сладковатый, смешанный с солью и дымом, запах порта Хайфона — тоже не уйдёт. Он вьёлся в меня, стал частью тела, как шрам, который не видно, но который всегда ноет к дождю..

Глава 2. Виньен.

Меня зовут Нгуен Ван Минь. Мне было девятнадцать лет,

когда я впервые увидел, как горит человек. Это случилось в январе 1951 года, под городом Виньен, где рисовые поля превратились в месиво из грязи, крови и напалма. Но до этого я был просто крестьянским сыном, который умел отличать хорошую рассадку от плохой, знал, когда сеять рис и как петь колыбельные младшим сёстрам. Война пришла в нашу деревню не как гром — она просочилась, как вода в старую лодку: сначала слухи, потом чужие солдаты на дороге, потом налоги, реквизиции, исчезновения людей по ночам. И однажды я понял, что мне больше нечего делать дома.

Деревня моя стояла на берегу Красной реки, среди бамбуковых зарослей и вечнозелёных садов. По утрам петухи кричали так, будто будили не только людей, но и само солнце. Туман висел над рисовыми полями, как молоко, разлитое по блюду. Моя мать вставала затемно, варила рис на очаге из трёх камней, и дым от сырых дров ел глаза, а пахло от него бамбуком и золой.

Отец погиб, когда мне было пятнадцать. Он ушёл с партизанами в джунгли и не вернулся. Мать говорила, что он ушёл «за справедливость», но в её голосе не было ни гордости, ни скорби — только усталость, как у человека, который носит воду в решете. После него остались мотыга, старый нож и три фотографии, спрятанные в бамбуковой трубке. На одной из них отец был молодой, в белой рубашке, на фоне пагоды. Я смотрел на неё, когда мне было страшно. Потом я понял, что отец, уходя, не взял с собой ничего, кроме ненависти к

французам. И эта ненависть стала моей.

Осенью 1950 года в нашу деревню пришли люди из Вьетмина. Они пришли ночью, как всегда, — тихо, без фонарей. Я сидел на пороге и чинил сеть. Один из них, худой человек с лицом, изрезанным морщинами, как старая кора, сел рядом со мной и заговорил. Он не агитировал, не кричал лозунгов. Он просто спросил, сколько нам лет, как зовут мать, есть ли рис на завтра. Потом сказал, что французы сжигают деревни на севере, что они бомбят дамбы, что крестьяне умирают от голода, пока рис увозят в порт. Я слушал и кивал. Всё это я уже знал. Но когда он сказал: «Твой отец был с нами. Он умер как герой», — внутри у меня что-то оборвалось, как струна на старом инструменте. Я почувствовал, что больше не могу сидеть на этом пороге и ждать, когда война сама придёт за мной.

Через три дня я ушёл из дома. Мать не плакала. Она дала мне узелок с варёным рисом, соль и серебряное кольцо, которое принадлежало ещё её матери. Сёстры стояли рядом, прижавшись друг к другу, и младшая тихо всхлипывала, уткнувшись в грудь старшей. Я поцеловал каждую в лоб и пообещал, что вернусь, когда прогоним французов. «Возвращайся, — сказала мать, и голос её дрогнул. — Если сможешь». Я поцеловал её в лоб, почувствовал на губах соль её пота, и вышел в туман. Позади осталась деревня, спящая в бамбуковой колыбели, и три пары глаз, которые смотрели мне вслед. Впереди были джунгли.

Отряд, в который я был зачислен, стоял в лесу, у подножия гор, в провинции Виньфук. Нас было около сорока человек — молодых и старых, крестьян и бывших солдат, женщин и даже один мальчик лет двенадцати, которого все звали Ку — «сверчок». Он носил с собой мандолину, сделанную из панциря черепахи, и играл по вечерам мелодии, от которых хотелось плакать. Я впервые увидел этот лагерь на рассвете: бамбуковые хижины, крытые пальмовыми листьями, костёр, на котором висел закопчённый котелок, и бойцы, спавшие прямо на земле, укрывшись полотнищами плащ-палаток. Пахло дымом, тиной и прелыми листьями. Где-то далеко, за стеной деревьев, пели птицы. Это было странное место, не похожее ни на дом, ни на войну.

Командиром отряда был человек по имени Хоанг. Ему было, может быть, сорок, но выглядел он на шестьдесят. Лицо — тёмное, как земля после дождя, глаза — узкие, спокойные, с прищуром человека, который привык смотреть на солнце. Он не носил знаков различия, только старую французскую каску и пистолет на поясе. Он говорил мало, но каждое его слово падало, как камень в воду. Первые недели он заставлял нас заниматься строевой подготовкой, рыть укрытия, изучать карты. Я ненавидел его приказы, особенно когда приходилось ползти по грязи с винтовкой, которая весила, как бревно. Но потом я понял: Хоанг учил нас не умирать. Он учил нас выживать.

Винтовку мне дали не сразу. Сначала — мачете и две

гранаты, сделанные из консервных банок. Потом — старую японскую винтовку «Арисака», у которой при выстреле подпрыгивал прицел. Я чистил её каждый вечер, хотя она всё равно была ржавой внутри. Патронов было мало: по шесть на человека. Их выдавали только перед боем. Всё остальное время мы маршировали, рыли окопы и слушали рассказы старых бойцов о том, как они били французов в горах.

Быт отряда был скудным и простым. Мы ели дважды в день: утром — жидкую рисовую кашу с солью, вечером — рис с вяленой рыбой или зеленью. Иногда, если крестьяне из окрестных деревень приносили кур или свинину, Хоанг приказывал делить всё поровну. Мы сидели вокруг костра, пили зелёный чай из жестяных кружек и говорили о будущем. Все верили, что через год-два французы уйдут. Верили, потому что без веры не было сил.

Отношения между бойцами были как в семье — со ссорами, ревностью, нежностью, о которой не говорят вслух. Я подружился с парнем по имени Туан, моим ровесником, который раньше был рыбаком на Красной реке. У него были удивительно светлые глаза и смех, похожий на бульканье воды в бамбуковой трубке. По вечерам, когда затихали разговоры, мы садились у бамбуковой хижины и смотрели на небо. Туан знал названия всех созвездий и рассказывал, как его дед учил его находить по звёздам путь в море. «Только теперь у нас нет моря, — говорил он. — Только джунгли». И мы оба молчали, думая о том, как странно: звёзды одни и те же, а

земля под ногами разная.

Население относилось к нам по-разному. Одни деревни встречали нас как спасителей — выносили рис, бананы, табак. Женщины стирали нашу одежду, старики рассказывали о передвижениях французов. Другие боялись. Они видели в нас только новых солдат, которые принесут в их дома огонь и смерть. Я понимал их. Крестьяне устали от всех — от французов, от японцев, от бандитов. Но я знал, что Вьетминь — это не бандиты. Мы сражались за землю, за рис, за право говорить на своём языке. Я верил в это тогда. Верю и сейчас, хотя вера стала тяжелее камня.

В середине января отряд получил приказ выдвигаться к Виньену. Говорили, что будет большое наступление. Генерал Зиап собрал тысячи бойцов, чтобы прорвать французскую линию обороны и выйти к Ханюю. Мы шли ночами, по тропам, которые знали только проводники из местных. Днём прятались в бамбуковых зарослях, спали в ямах, накрывшись ветками. Шли молча. Только шорох шагов по мокрой листве и дыхание, тяжёлое, как у буйвола после пахоты.

Перед боем нам раздали по пятнадцать патронов. Это было много. Туан сказал, что, значит, будет жарко. Мы сидели на краю рисового поля, покрытого утренним туманом, и чистили оружие. Наш взводный, бывший школьный учитель, объяснял нам план: мы должны атаковать французские позиции на холмах, отвлечь их резервы, пока главные силы ударят по Виньену. Я не запомнил деталей. Я запомнил только,

как дрожали руки Туана, когда он перевязывал ремешок на каске.

Атака началась на рассвете. Мы поднялись из зарослей, как прилив, и пошли через поле. Впереди — голая земля, залитая водой, над которой поднимался пар. Тишина. Только наше дыхание и хлюпанье ног. Потом — резкий свист, как будто рвали ткань. Миномётная мина упала метрах в тридцати справа. Земля встала столбом. Я не остановился. Не мог.

Потом заговорили пулемёты. Их треск был похож на треск бамбука, брошенного в костёр. Пули срезали стебли риса у самых ног. Кто-то впереди упал, вскинув руки. Кто-то закричал. Я бежал, пригибаясь, не видя ничего, кроме спины Туана впереди. Винтовка била по спине. Грязь летела в лицо.

До французских траншей оставалось метров сто, когда небо загудело. Я поднял голову и увидел самолёты. Они шли низко, с воем, который проникал в кости. Потом от них отделились чёрные капли. Я не понял сначала, что это. Капли упали на поле и взорвались огнём. Огнём, который потёк по воде, как жидкое солнце. Это был напалм.

Я увидел, как человек впереди меня стал факелом. Он бежал, а огонь охватывал его ноги, спину, руки. Он кричал. Этот крик не был похож на человеческий. Он был похож на крик раненого зверя, на скрип дерева, которое ломают. Я упал в воду, зарылся в грязь, но огонь был везде. Он был в воздухе, в земле, в моих лёгких.

Я не помню, сколько я лежал. Может быть, минуту. Мо-

жет быть, час. Помню только, что меня вытащил за шиворот Туан. У него было чёрное лицо и глаза, огромные, как у ребёнка. Он что-то кричал, но я не слышал. В ушах стоял гул. Он тащил меня назад, к зарослям, а вокруг горели люди и рисовое поле. Вода кипела. Грязь стала горячей.

Из сорока человек отряда в тот день погибло двадцать шесть. Я выжил. Туан выжил. Мы лежали в бамбуковой роще, глотали воду из фляг и смотрели, как догорает поле. Туан плакал. Я не плакал. У меня не было слёз. Я сжимал в руке приклад винтовки, который нагрелся от огня, и думал о том, что теперь у меня есть первый боевой опыт. Опыт, который не описать словами. Опыт, который нельзя забыть.

К вечеру пришли санитары. Они собирали раненых, перевязывали ожоги банановыми листьями, поили рисовым отваром. Командир Хоанг обходил бойцов, смотрел в глаза. Когда он подошёл ко мне, я сидел, обхватив колени, и дрожал. Он присел рядом, дал мне сигарету. Курить я не умел, но взял. Дым был горьким, как полынь.

— Теперь ты знаешь, что такое война, — сказал он тихо. — Не забывай этого. Но и не дай ей сломать тебя.

Он поднялся и ушёл. А я остался сидеть, глядя, как над сожжённым полем поднимается пар, похожий на дым от погребального костра. Я думал о матери, о сёстрах, о Туане, который спал рядом, вздрагивая во сне. Я думал о том, что война — это не справедливость и не слава. Это просто огонь, который течёт по воде, и крик человека, который стал факе-

лом.

Через неделю, когда мы вернулись в лесной лагерь, я написал письмо домой. Я написал, что жив, что со мной всё в порядке, что кормят нормально. Я не написал про напалм, про Туана, про то, как пахнет горелое человеческое мясо. Вместо этого я описал восход над горами, туман над рисовыми полями, пение птиц. Я написал, что после дождя пахнет бамбуком и золой, как дома. Это было правдой.

Ночью, когда все уснули, я вышел из хижины и сел у костра. Огонь был маленьким, тёплым. Я смотрел на него и вспоминал другой огонь — тот, что течёт по воде. Я понял тогда, что ненависть к французам стала во мне не просто чувством. Она стала частью тела, как кровь, как дыхание. Но вместе с ней во мне поселился и страх — страх перед огнём, перед небом, перед собственной смертью. И я знал, что буду жить с этим страхом до конца войны.

А до конца было ещё далеко. Впереди было множество сражений. И я не знал, кто из нас доживёт до победы. Но я знал одно: я больше никогда не смогу смотреть на закат над рисовым полем, не вздрогнув. Потому что закат — это тоже огонь. И этот огонь напоминает мне о Виньене.

Глава 3. Долина туманов.

Год пролетел незаметно в патрулях и отражениях атак вьетов на дельту. Приказ пришёл в конце октября 1952, когда мы уже начали привыкать к осенней прохладе. Меня перево-

дили в Нашан — укреплённый лагерь, который генерал Салан приказал создать в глубине враждебной территории, среди гор, покрытых джунглями. Говорили, что это будет ловушка для Вьетминя, что генерал Зиап сам полезет в неё, как мотылёк на огонь. Я тогда уже не верил красивым словам, но приказы не обсуждал. Собрал вещмешок, попрощался с сержантом Маршелем, который оставался в расположении батальона, и сел в грузовик, идущий в горы.

Дорога была извилистой, как старая вена. Мы поднимались всё выше, и воздух становился холоднее, прозрачнее. Рисовые поля сменились чайными плантациями, а затем — сплошной стеной джунглей. Деревья стояли плотно, как огромные изумрудные губки, впитывающие туман. Я смотрел на них сквозь брезентовый тент и думал о том, что в этих зарослях может прятаться целая дивизия — и мы об этом не узнаем, пока она не пойдет на нас в атаку. Джунгли умели молчать. Они поглощали звуки, как мох поглощает воду.

Нашан оказался долиной, зажатой между двумя грядами известняковых гор. Сверху она выглядела как зелёное блюдо, наполненное молоком тумана. Когда мы спустились, туман ещё держался над землёй, и сквозь него проступали силуэты укреплений: мешки с песком, колючая проволока, дощатые вышки, на которых торчали пулемётные стволы. Всё это казалось игрушечным, ненастоящим, как макет, который школьники делают на уроке истории. Но запах был настоящий: сырая земля, гниющие листья, карбид, порох, консер-

вы. Запах войны.

Меня распределили на опорный пункт номер три — холм, господствовавший над восточным краем долины. Холм был голый, как лысина старика. Его вершину венчали три линии траншей, соединённых ходами сообщения. По периметру — ряды колючей проволоки, минные поля, вбитые в землю колья. Гарнизон холма составляли около двухсот человек: французы, алжирцы, марокканцы, сенегальцы, и среди них — местные лоялисты, которых называли «коммандос». Я впервые оказался в таком пёстром сборище. В казарме, где я ночевал до этого, все говорили по-французски. Здесь звучал десяток языков, и это было похоже на Вавилон, построенный посреди джунглей.

Моим непосредственным начальником был капитан Бланшар — невысокий, плотный человек с бледным лицом и редкими волосами, зачёсанными набок. Он напоминал провинциального нотариуса, случайно надевшего военную форму. Но глаза у него были холодные, внимательные, и он не упускал ни одной детали. Он воевал в Индокитае с сорок шестого, прошёл Кохинхину, Тонкин, Аннам. Его лицо было картой, на которой война оставила свои отметины: тонкий белый шрам над бровью, тёмные круги под глазами, уголок рта, дёргавшийся, когда он злился. Он принял меня сухо, пробежал глазами мои документы, хмыкнул.

— Вы, Леконт, из тех, кто верит, что войну можно выиграть за счёт чести? — спросил он, не дожидаясь ответа. —

Здесь честь заканчивается там, где начинается грязь. А грязь здесь повсюду. Запомните: ваша задача — не умереть красиво. Ваша задача — удержать этот холм. Всё остальное — поэзия.

Он был прав. На холме не было ничего поэтического. Только глина, смешанная с камнями, мешки с песком, пропитанные плесенью, и деревянные бункеры, крытые тремя слоями брёвен. Дожди ещё не начались, но земля уже была влажной. По ночам температура падала, и изо рта шёл пар. Мы спали в узких щелях, вырытых в склоне, укрывшись плащ-палатками. Утром всё было мокрым: одежда, оружие, сигареты, даже спички. Я научился сушить их под мышкой, как делали старые солдаты.

Первые две недели мы укрепляли позиции. Каждый день — кирка, лопата, мешки с песком. Спина ныла, ладони покрывались волдырями, которые лопались и снова натирались. Мы рыли новые траншеи, углубляли старые, ставили дополнительные ряды проволоки, минировали подступы. Вечерами собирались в бункере, где капитан Бланшар разворачивал карту и объяснял нам план обороны. Я смотрел на линии, стрелки, условные обозначения и понимал, что карта не передаёт ни запаха этой земли, ни тяжести неба, ни ощущения, что за каждым кустом — чужие глаза.

В Нашане я встретил Пьера Дюваля. Мы учились вместе в военном училище в Сен-Сире, только он был на два года старше. Пьер был высокий, худой, с копной каштановых во-

лос, которые он вечно отбрасывал со лба. У него было лицо человека, который смотрит на мир с лёгкой иронией, но в этой иронии пряталась глубокая, почти болезненная чувствительность. Он командовал взводом на соседнем холме. Мы встретились у полевой кухни, где повар-вьетнамец наливал в жестяные миски жидкий суп с рисом и кусками солонины.

— Антуан! — воскликнул он, протягивая мне руку. — Ты тоже здесь? Значит, генерал решил собрать всех неудачников в одном месте.

— Похоже на то, — ответил я, пожимая его ладонь. — Только неудачники мы или смертники, пока не ясно.

— Смертники, — сказал он уже тише, и улыбка на его лице погасла. — Ты видел эти горы? Они кишат вьетами, как муравейник. Но не говори этого Бланшару. Он считает, что пораженческие настроения хуже дизентерии.

Мы сели на ящик из-под боеприпасов и принялись за суп. Он был горячим, но безвкусным, как подогретая вода с солью. Я всё равно ел. Пьер рассказывал о том, как попал в Нашан: его батальон перебросили сюда после того, как он чудом уцелел в засаде на дороге Ханой — Хоабинь. Он потерял половину взвода, а сам отделался контузией и осколком в плече, который оставили, потому что вынимать было опасно.

— Знаешь, что самое странное? — говорил он, глядя вдаль, на затянутые туманом вершины. — Я уже не помню

лиц тех, кто погиб. Только темноту и крики. Мне кажется, что я схожу с ума. Но потом я смотрю на этих ребят, — он кивнул в сторону солдат, сидевших вокруг костра, — и понимаю, что все мы немного сумасшедшие. Иначе мы бы не выдержали.

Я не знал, что ответить. Я и сам начал забывать лица погибших. Может быть, так было легче. Память — странная вещь: она хранит не то, что было, а то, что ты смог пережить. Иногда она стирает лица, но оставляет ощущение пустоты, как от выбитого зуба. Ты проводишь языком по дырке и не находишь ничего, кроме шершавой десны.

Дни шли медленно, как вода в заболоченном ручье. Мы патрулировали окрестности, проверяли посты, доставляли боеприпасы. Я привык к однообразию, к постоянному ощущению сырости и холода. По утрам долина Нашан утопала в тумане, таком густом, что в десяти метрах не было видно ни зги. Туман приглушал звуки, делал их ватными. В такие часы казалось, что война где-то далеко, в другом мире. Потом туман рассеивался, и вместе с ним исчезала иллюзия покоя.

Ночью 21 ноября я проснулся от тишины. Это была не та тишина, которая успокаивает, а та, что предшествует удару. Я лежал в своей норе, укрытый плащ-палаткой, и слушал. Не пели цикады. Не лаяли собаки. Даже ветер стих. Я потянулся за автоматом, лежавшим у изголовья. Металл был холодным, как лёд. В следующую секунду небо разорвалось.

Миномётный обстрел начался внезапно. Мины падали с

противным, воющим звуком, похожим на плач ребёнка. Земля вздрагивала, как живая. Я скатился на дно траншеи и прижался к стенке. Рядом кто-то кричал: «К бою! К бою!» Но крик тонул в грохоте. Сверху сыпались комья глины, осколки, сухие ветки. Я почувствовал, как по лицу течёт что-то тёплое. Сначала подумал — кровь. Оказалось, просто дождевая вода, скопившаяся в мешках с песком.

Обстрел длился минут десять. Потом наступила пауза — короткая, как вдох перед нырком. И в этой паузе я услышал их: вьетов. Они шли молча, но их дыхание, топот босых ног по мокрой траве, лязг затворов сливались в один низкий, утробный гул. Они поднимались по склону волнами, как чёрная вода в половодье.

Пулемёты на наших позициях открыли огонь. Трассеры расчертили ночь красными пунктирами. Я высунул голову над бруствером и увидел их — тёмные фигуры, бегущие через редкий кустарник. Они были повсюду. Я вскинул автомат и нажал на спуск. Очередь ушла в темноту. Приклад толкнул плечо. Кто-то упал, но остальные продолжали бежать.

— Гранаты! — заорал я, выдёргивая чеку.

Граната полетела в темноту, разорвалась с сухим треском. Следом полетели ещё три. Взрывы осветили склон, и я увидел искажённые лица, каски из листьев, чёрные мундиры. Они были совсем близко. Один из них, низкорослый, с винтовкой наперевес, бросился прямо на меня. Я выстрелил в упор. Он отлетел назад, как тряпичная кукла. Я почувство-

вал тошноту, но времени на неё не было.

Бой распался на отдельные схватки. В траншее стало тесно от тел — живых и мёртвых. Кто-то кричал по-арабски, кто-то по-французски. Штыки, приклады, сапёрные лопатки. Я дрался, не думая, движимый только инстинктом. В какой-то момент я увидел, как сенегалец из моего взвода, огромный, как баобаб, схватил вьетнамца за горло и поднял его над землёй. Тот бил ногами в воздухе, хрипел. Потом оба упали, на них навалились другие.

Не помню, сколько это длилось. Может, час, может, два. Время в бою течёт не так, как в мирной жизни. Оно сжимается и растягивается одновременно. Я помню только вспышки выстрелов, скользкую глину под ногами, запах пота и пороха, крик, который не прекращался ни на секунду. К рассвету атака захлебнулась. Вьеты откатились, оставив на склоне десятки тел. Мы стояли в траншее, мокрые, грязные, оглохшие, и смотрели, как над горами неохотно занимается серый рассвет.

Погиб капрал Ришар. Мы с ним не были близкими друзьями, но я знал его по вечерним посиделкам у костра. Он был из Лиона, как и я. Любил рассказывать о своей невесте, которая работала в булочной на улице Республики. Он всегда носил в нагрудном кармане её фотографию, завёрнутую в целлофан. Пуля попала ему в горло, когда он поднялся, чтобы бросить гранату. Он умер не сразу. Его хрип был похож на звук воды, вытекающей из пробитого ведра. Я держал его

руку, когда он затих. Она была тёплой, а потом стала холодеть. Я закрыл ему глаза, но не мог смотреть на его лицо.

К полудню мы собрали раненых и убитых. Санитары сновали по траншеям, как муравьи. Капитан Бланшар обходил позиции, говорил короткие, скупые слова. Он не хвалил нас. Он просто смотрел в глаза и кивал. В его лице я прочитал то, что он не сказал вслух: «Это только начало». Я знал, что он прав.

Вечером я сидел у блиндажа, чистил автомат и смотрел на закат. Небо над горами было цвета застарелой крови. Долина внизу снова утопала в тумане, который поднимался от реки, как пар от горячего риса. Я думал о Ришаре, о его невесте из булочной, о фотографии, которая теперь лежала в вещмешке, пропитанная кровью. Я думал о том, что у войны нет не только чести, но и смысла. Она просто есть, как туман, как джунгли, как эти горы, равнодушные к человеческим судьбам.

Пьер пришёл ко мне, когда стемнело. Он сел рядом, молча протянул флягу. В ней был ром, разбавленный водой. Я сделал глоток. Спирт обжёг горло, но не согрел.

— Знаешь, — сказал Пьер, — я сегодня впервые подумал, что не вернусь домой. Не потому, что меня убьют, а потому, что я не смогу там жить. Слишком много всего... — он обвёл рукой темноту. — Это въедается в тебя. Как запах. Ты можешь смыть грязь, но не запах.

Я кивнул. Я понимал его. Смерть Ришара оставила во мне

не пустоту, а какую-то липкую, тошнотворную субстанцию, которая не давала дышать. Я знал, что завтра или послезавтра всё повторится. Знал, что погибнут ещё люди. Знал, что я буду убивать. И от этого знания хотелось закричать. Но я молчал. Мы все молчали. Потому что слова не имели здесь ценности.

Ночью, лёжа в своей норе, я слушал, как в джунглях перекликаются птицы. Их крики были похожи на плач. Или мне это казалось. Я закрыл глаза и увидел лицо Ришара. Он улыбался. Он всё ещё верил, что увидит свою невесту. Я отвернулся к стене и уткнулся лбом в холодную землю. Сон не шёл. Я лежал и считал удары своего сердца, а за стеной из мешков с песком снова поднимался туман, белый, как молоко, и такой же безмолвный.

Это было только начало Нашана. Впереди были ещё ночи, о которых я не смогу забыть до конца жизни. Но тогда, на рассвете 22 ноября, я знал лишь одно: я ещё жив, и это — единственное, что имеет значение. Всё остальное — поэзия, как сказал капитан Бланшар. А в грязи нет места поэзии. Есть только туман, кровь и люди, которые продолжают идти вперёд, потому что не умеют иначе.

Глава 4. Подъём на холм.

Мы шли к Нашану пятнадцать ночей. Днём спали, укрывшись под пологом джунглей, ночью двигались по узким тро-

пам, которые были известны только проводникам. Лес стоял вокруг нас, как бесконечная зелёная стена. Иногда луна пробивалась сквозь кроны, и тогда листья наверху казались вырезанными из старого серебра. Но чаще было темно — такая темнота, когда собственная рука кажется чужой, а звук шагов становится единственным доказательством того, что ты ещё существуешь.

Наш отряд пополнили перед сражением. К нам присоединились бойцы из разбитых подразделений, молодые добровольцы из деревень и несколько кадровых военных, которые когда-то служили ещё в армии императора. Среди них был старик по имени Шау — худой, как ствол бамбука, с лицом, изрытым оспой, и руками, на которых вены выступали, как корни старого дерева. Он носил с собой только одну вещь — потёртый бинокль французского производства, который, по его словам, «видел больше, чем все мы вместе». Хоанг назначил его моим наставником. Шау редко говорил. Но когда он открывал рот, все замолкали, потому что слова его были точными, как выстрел.

— В Нашане французы будут сидеть на вершинах, — сказал он мне однажды ночью, когда мы отдыхали у ручья. — Они думают, что сверху им всё видно. Но они забыли, что джунгли умеют прятать человека даже на открытом склоне, если он ползёт бесшумно.

Я слушал его и смотрел на воду. Ручей был узким, но быстрым. Вода несла опавшие листья, и они кружились в ма-

леньких водоворотях, как тёмные лодки. Я подумал о том, что каждый из нас — такой же лист, подхваченный течением, которое мы не выбирали. И что в конце все мы упадём в одну и ту же реку.

Туан шёл рядом со мной. После Виньена он стал тише. Его смех, похожий на бульканье воды, теперь раздавался редко. По ночам он стонал во сне, и я будил его, кладя ладонь на лоб. Он просыпался с расширенными зрачками, хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Я делал вид, что ничего не замечаю. Так было легче обоим.

Однажды вечером, на привале, он подсел ко мне. Мы сидели на поваленном дереве, покрытом мхом, и ели холодный рис с солью. Дождь моросил, но мы не прятались. Вода стекала по листьям, и капли падали на наши каски, издавая звук, похожий на отдалённый перестук пальцев по дереву.

— Минь, — сказал Туан, не глядя на меня, — я боюсь. Но не смерти. Я боюсь, что умру раньше, чем увижу Красную реку снова.

Я не знал, что ответить. Я и сам боялся того же. Красная река снилась мне почти каждую ночь: её мутная вода, несущая ил, запах тины, крики лодочников. Во сне я стоял на берегу, но не мог пошевелиться. А река всё текла и текла, унося с собой обломки деревьев, старые циновки, а иногда — тела.

— Мы увидим её, — сказал я наконец. — Когда прогоним французов.

— А если не прогоним?

Я промолчал. Потому что не знал. Война не давала обещаний.

Нашан оказался долиной, зажатой между горами. Когда мы вышли на опушку леса, перед нами открылось зрелище, от которого у меня перехватило дыхание. Впереди, в молочной пелене утреннего тумана, лежал французский лагерь. Он был похож на чудовищного спрута, расплзшегося по холмам: щупальца траншей, присоски бункеров, колючая проволока, опутавшая склоны, как паутина. На вершинах торчали вышки, и на них шевелились тёмные фигуры. Всё это было освещено первыми лучами солнца, пробивавшимися сквозь облака. Я почувствовал, как внутри всё сжалось. Это была не деревня, не город. Это была машина, созданная для того, чтобы убивать.

Хоанг собрал нас на совещание. Он развернул карту, прижатую камнями, и начал объяснять план. Его голос был спокойным, как у человека, который рассказывает о том, как сажать рис.

— Товарищи, французы укрепились на трёх холмах, — говорил он, водя пальцем по карте. — Наша задача — атаковать восточный холм. Это ключ к долине. Если мы возьмём его, остальные рухнут сами.

Я смотрел на карту и видел линии, стрелки, цифры. Но перед глазами стояло другое: склон, залитый напалмом, горящие люди, крик, который до сих пор звенел в ушах. Я за-

ставил себя сосредоточиться.

— Атака начнётся в ночь на 22 ноября, — продолжал Хонг. — Первая волна пойдёт без артподготовки. Нам нужна внезапность. Вторая волна — через двадцать минут. Третья — ещё через двадцать. Если первая волна захлебнётся, вторая должна прорвать оборону. Если и вторая не пройдёт — третья ударит встык.

Он обвёл нас взглядом. В его глазах не было ни страха, ни сомнения. Только холодная решимость человека, который уже всё просчитал и принял.

— Вопросы? — спросил он.

Вопросов не было. Мы знали, что нас ждёт.

Лагерь наш размещался в глубине леса, в естественной впадине, защищённой от ветра. Бойцы вырыли неглубокие ямы, накрытые ветками и листьями папоротника. Днём мы спали в этих ямах, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Ночью разводили маленькие костры из сухого бамбука, на которых варили рис. Дым был густым, но его задерживали кроны деревьев, поэтому лагерь с воздуха не просматривался.

В ночь перед атакой никто не спал. Мы сидели вокруг костра, чистили оружие, проверяли патроны. Шау рассказывал, как в прошлом году французы атаковали его деревню. Он говорил тихо, не поднимая глаз, и в его голосе не было ненависти — только глубокая, застарелая боль, как старая рана, которая ноет к дождю. Мы слушали и молчали.

Туан сидел напротив меня. Он держал на коленях свою винтовку и протирал её куском промасленной ткани. Его пальцы двигались медленно, осторожно, как будто он касался не металла, а кожи спящего ребёнка. Я смотрел на него и думал о том, что завтра, возможно, эти пальцы навсегда останутся. Эта мысль была невыносимой. Я отвернулся.

К костру подошёл политработник — человек лет сорока, с худым лицом и внимательными глазами, в которых не было ни фанатизма, ни усталости. Его звали товарищ Тхай. Он не стал говорить общими фразами. Он сел на корточки рядом с костром, обвёл нас взглядом и сказал тихо, почти буднично:

— Товарищи, я знаю, что вы устали. Я знаю, что многие из вас не спали три ночи. Я не буду говорить, что это легко. Это не легко. Но я хочу, чтобы вы помнили одну вещь: завтра вы идёте не за Вьетнам и не за коммунизм. Вы идёте за свои деревни. За рис, который французы отбирают. За детей, которых они убивают. За мёртвых, которых они не дают хоронить. Если вы забудете это — вы проиграете. Если вспомните — вы выстоите.

Он помолчал, потом посмотрел на меня:

— Товарищ Минь, ты был в Виньене. Ты видел, что такое напалм. Скажи им.

Я не хотел говорить. Но слова нашлись сами. Я сказал о горящем поле, о человеке, ставшем факелом, о крике, который до сих пор стоит в ушах. Когда я закончил, Тхай кивнул и поднялся.

— Вот за это мы и воюем. За то, чтобы этого больше не было.

Он ушёл так же тихо, как пришёл. Но после его слов костёр горел ярче, и люди вокруг сидели прямее.

Перед рассветом нам раздали по двадцать патронов. Это было больше, чем когда-либо. Мы знали, что это значит. Хонг обошёл строй, вглядываясь в лица бойцов. Он остановился передо мной, положил руку мне на плечо.

— Держись рядом со мной, — сказал он. — Если что — прикрывай левый фланг.

Я кивнул. Горло пересохло, язык прилип к нёбу. Я хотел пить, но фляга была пуста. Дождь, который моросил всю ночь, к утру прекратился, оставив на листьях капли, сверкавшие, как осколки стекла.

Мы выдвинулись, когда небо на востоке только начинало сереть. Шли цепочкой, по одному, соблюдая дистанцию. Под ногами хлюпала грязь. Ветки цеплялись за одежду, царапали лица. Я почти не смотрел по сторонам — только на спину Туана, маячившую впереди. Он шёл, чуть прихрамывая: накануне подвернул ногу, но не сказал никому. Я знал, что он не хотел отставать.

Мы вышли к подножию холма, когда туман ещё держался в низине. Склон был крутым, покрытым редким кустарником и пучками жёсткой травы. Где-то наверху, за гребнем, находились французские траншеи. Я поднял голову и увидел, как в сером свете утра темнеют мешки с песком. Сердце

забилось часто, как перед прыжком в холодную воду.

Хоанг подал знак. Первая волна поднялась и пошла вверх. Мы — во второй волне — ждали, лёжа в мокрой траве. Я прижимался щекой к земле и слушал. Сначала было тихо. Только шорох шагов и прерывистое дыхание. Потом — резкий треск, как будто рвали брезент. Пулемёт.

И сразу — крики. Французские пулемёты били сверху, трассеры чертили по склону огненные линии. Я видел, как бойцы первой волны падают, как подкошенные стебли. Некоторые ещё ползли, цепляясь за траву. Другие лежали неподвижно.

— Вперёд! — заорал Хоанг.

Мы вскочили и побежали. Земля была скользкой после дождя. Ноги разъезжались. Я бежал, пригнувшись, не думая ни о чём, кроме одной мысли: добраться до гребня. Вокруг свистели пули. Они срезали листья, поднимали фонтанчики грязи. Кто-то впереди вскрикнул и упал. Я перепрыгнул через него. Не мог остановиться.

До траншей оставалось метров пятьдесят, когда слева ударил миномёт. Взрыв поднял столб земли и дыма. Меня швырнуло на землю. В ушах зазвенело. Я попытался встать, но руки скользили по грязи. Перед глазами всё плыло.

Кто-то схватил меня за шиворот и потащил вверх. Это был Шау. Его лицо было перекошено, рот открыт в беззвучном крике. Он кричал, но я не слышал. Мир погрузился в ватную тишину, нарушаемую только низким гулом.

Мы достигли гребня. Впереди была колючая проволока. Часть бойцов уже рвала её руками, забрасывала плащ-палатками. Французы били в упор из траншеи. Я видел вспышки выстрелов, отблески касок. Кто-то метнул гранату. Взрыв. Ещё один.

Мы ворвались в траншею. Там было тесно, темно, воняло порохом и кровью. Я стрелял не целясь, просто нажимал на спуск, и винтовка дёргалась в руках. Передо мной возник француз — высокий, в расстёгнутой рубашке. Он что-то кричал, поднимая автомат. Я выстрелил. Он упал, неестественно запрокинув голову. Я переступил через него и пошёл дальше.

Бой распался на отдельные очаги. Люди дрались штыками, прикладами, ножами. Крики, стоны, хруст костей. Я не различал, где свои, где чужие. Просто бил всё, что двигалось.

Внезапно я увидел Туана. Он стоял у бруствера, прижавшись спиной к мешку с песком, и отбивался прикладом от двух алжирцев. Я бросился к нему, но споткнулся о чьё-то тело. Когда поднялся, одного алжирца уже не было — он лежал на дне траншеи с раскрытым черепом. Второй, здоровенный детина, схватил Туана за горло и прижал к стенке. Туан хрипел, царапал его руки, но силы были неравны.

Я вскинул винтовку, но патронов не было. Затвор щёлкнул впустую. Тогда я выхватил мачете и прыгнул. Лезвие вошло в спину алжирца, между рёбер. Он замер, потом обмяк, сполз по стенке. Я оттащил его. Туан сполз на дно траншеи,

жадно глотая воздух. На шее у него багровели следы пальцев.
— Спасибо, — прохрипел он.

Я не успел ответить. Сверху, из-за поворота траншеи, ударила автоматная очередь. Туан дёрнулся, как от удара током. Его глаза расширились. Он посмотрел на меня, и в этом взгляде было не боль, а удивление. Потом он начал заваливаться вперёд.

Я подхватил его. Пули попали ему в грудь — три аккуратные дырочки, из которых толчками выходила тёмная кровь. Он хватал ртом воздух, но лёгкие уже не слушались. Я прижимал ладони к ранам, пытался остановить кровь, но она текла сквозь пальцы, горячая, липкая.

— Туан! — закричал я. — Держись!

Он попытался что-то сказать, но изо рта вырвался только хрип. Его рука вцепилась в мой рукав. Потом пальцы разжались. Голова упала набок. Глаза остались открытыми, устремлёнными в серое небо, по которому плыли рваные облака.

Я сидел в траншее, держа его на руках, и не мог пошевелиться. Вокруг продолжался бой. Кто-то кричал, кто-то стрелял. Но я ничего не слышал. Только стук собственного сердца, который отдавался в висках, как барабан.

Меня вывел из оцепенения Шау. Он схватил меня за плечо, рванул вверх.

— Уходим! — заорал он мне в лицо. — Атака захлебнулась! Уходим!

Я не хотел оставлять Туана. Но Шау тащил меня, и ноги сами несли меня прочь. Мы побежали назад, по склону, усеянному телами. Пули свистели над головой. Я падал, вставал, снова бежал. В глазах стояла пелена. Я не помню, как мы добрались до леса.

Только утром, когда остатки отряда собрались в овраге, я пришёл в себя. Я сидел, привалившись к дереву, и смотрел на свои руки. Они были в крови — Туана, алжирца, моей собственной. Кровь уже засохла, стала тёмной корочкой. Я попытался оттереть её о траву, но она не отходила. Тогда я понял, что она останется со мной навсегда.

Хоанг обходил бойцов. Он был ранен в руку — висела плетью, перевязанная окровавленным бинтом. Но он продолжал идти, смотрел на каждого, считал. Нас осталось двенадцать из сорока.

— Первая волна погибла почти полностью, — сказал он глухо. — Вторая понесла большие потери. Третью волну остановили на подступах.

Он замолчал. Потом добавил:

— Мы ещё вернёмся.

Я не ответил. Я сидел и смотрел, как над долиной поднимается солнце. Туман рассеивался, открывая чёрные от дыма склоны холмов. Где-то там, в траншее, лежал Туан. Его глаза, наверное, уже остекленели, и дождь, который пойдёт вечером, смоет кровь с его лица. Я не смог даже похоронить его. Никто не смог.

Шау подсел ко мне. Он молчал долго, потом сказал:

— Ты спас его, но не смог уберечь. Так бывает.

— Я не хотел его спасать, — ответил я. — Я хотел, чтобы он жил.

Шау покачал головой.

— Жизнь — это не то, что мы хотим. Это то, что остаётся после боя.

Он дал мне сигарету. Я взял. Мы курили молча, глядя, как дым растворяется в утреннем воздухе. Где-то далеко пела птица. Её трель казалась неуместной, почти оскорбительной среди этой тишины, пропитанной смертью.

Вечером пошёл дождь. Он стучал по листьям, стекал струйками по нашим каскам. Я лежал в яме, накрывшись плащ-палаткой, и слушал этот стук. Он был похож на шаги множества людей, уходящих в темноту. Я закрыл глаза и увидел Красную реку. Она несла свои мутные воды к морю, а на берегу стоял Туан и махал мне рукой. Я хотел подойти к нему, но ноги не слушались. Река всё текла, и Туан становился всё меньше, пока не растворился в тумане.

Я проснулся от холода. Дождь кончился. В небе, между облаками, проглядывали звёзды. Я лежал и думал о том, что завтра, возможно, снова будет бой. Что снова погибнут люди. Что я снова буду убивать. И от этого знания внутри всё сжималось в тугой комок, который не могли разбить ни гнев, ни страх.

Но я знал одно: я должен идти дальше. Ради Туана. Ради

отца. Ради всех, кто уже не может идти сам. Даже если этот путь ведёт в темноту, из которой нет возврата.

Глава 5. Ночь, когда я побежал.

Двадцать третьего ноября дождь прекратился. Я запомнил это отчётливо, потому что тишина, наступившая после семи часов непрерывного стука капель, была почти невыносимой. Звук дождя стал частью меня, как биение сердца. Когда он смолк, я почувствовал пустоту, будто кто-то вынул из груди орган, о существовании которого я не подозревал.

Утро того дня было серым, как старая простыня. Туман не поднимался, а лежал в долине, плотный, влажный, похожий на вату, пропитанную водой. Я стоял на бруствере, курил сигарету, смотрел на склон, усеянный телами. Вьеты не забрали своих убитых. Может быть, не смогли, может быть, не захотели. Они лежали в неестественных позах, некоторые скрючившись, как зародыши, другие раскинув руки, будто пытались обнять родную землю. Дождь смыл с них кровь, и теперь они были серыми, как глина.

Капитан Бланшар приказал не убирать тела. Я не понимал зачем. Позже он объяснил: пусть Вьетминь видит цену атаки. Пусть их разведка доложит, что склоны устланы их мертвецами. Это должно было подорвать боевой дух. Не знаю, сработало ли. Мне кажется, мёртвые не пугают тех, кто готов умереть. Они лишь напоминают, что смерть близка, а это

чувство, как ни странно, придаёт решимости.

Днём мы приводили в порядок позиции. Таскали мешки с песком, укрепляли брустверы, пополняли боезапас. Патронов было достаточно, гранат тоже. Хуже было с водой. Колдцы, вырытые на склоне, оказались завалены землёй после обстрела. Питьевую воду пришлось доставлять с центрального пункта, и каждая фляга стоила пота, а иногда и жизни. Снайперы вьетов сидели где-то в лесу, за пределами наших линий, и били по каждому, кто высывался.

Один из водоносов, молодой алжирец по имени Моктар, был убит в тот день. Пуля попала ему в голову, когда он поднимался по склону, неся два бурдюка. Он упал навзничь, и вода из пробитых бурдюков смешалась с его кровью, стекая вниз по канаве, вырытой для стока дождевой воды. Я видел, как он лежит на спине, с открытыми глазами, а из виска течёт тонкая тёмная струйка. Моктар был хорошим парнем. Он умел читать молитвы на своём языке, от которых щемило в груди, хотя я не понимал ни слова. Теперь его голос навсегда умолк, и с ним умерла часть меня, о которой я не знал.

К вечеру капитан Бланшар собрал офицеров в бункере. Он был мрачен. Под глазами залегли тёмные круги, уголок рта дёргался сильнее обычного. Он развернул карту, испещрённую пометками, и ткнул пальцем в восточный склон.

— Разведка сообщает, что Вьетминь перебрасывает подкрепления. Мы ожидаем атаку этой ночью. Вероятно, массированную. Они попытаются взять холм до того, как придут

наши резервы.

Он обвёл нас взглядом. В бункере было душно, пахло потом, табаком и керосином от лампы, которая мигала, отбрасывая на стены дрожащие тени.

— Драться до последнего патрона, — сказал он. — Отступать нельзя. Если холм падёт, долина окажется под перекрёстным огнём. Вы понимаете, что это значит.

Мы понимали. Это значило, что Нашан превратится в братскую могилу. Что все мы останемся здесь навсегда, и наши имена напишут на мраморной плите, которую никто никогда не увидит, потому что джунгли поглотят и её.

После совещания я вышел на воздух. Смеркалось. Туман снова поднимался от реки, стелился по низине, обволакивал подножие холма. В его белой пелене тела убитых казались не страшными, а почти призрачными, как тени из другого мира. Я подумал о Пьере. Его холм был соседним, метрах в семистах. Я знал, что он тоже готовится к бою. Мне хотелось поговорить с ним, услышать его ироничный голос, который умел отгонять страх. Но связи не было. Только полевые телефоны, которые работали с перебоями. Я посмотрел на его холм, но увидел лишь серую массу, растворённую в сумерках.

Ночь наступила быстро, как опустившийся занавес. Я занял свой пост на левом фланге. Со мной были четверо: капрал Дюбуа, темнокожий сенегалец, чьё имя я так и не научился произносить правильно, молодой марокканец Ахмед,

похожий на перепуганного подростка, и вьетнамец-коммандос по кличке Фан, который говорил по-французски с парижским акцентом и ненавидел Вьетминь с такой яростью, что порой мне становилось не по себе.

Мы сидели в траншее, прижавшись спинами к холодной глине, и молчали. Каждый слушал ночь. Она была полна звуков: далёкий крик птицы, шорох ветра в бамбуке, чей-то кашель с соседнего поста. Но все эти звуки были обманчивы. Подлинная ночь была тихой, как зверь перед прыжком.

Атака началась в два часа ночи. Я никогда не забуду этот момент. Сначала — далёкий свист, похожий на вздох ветра в проводах. Потом — ослепительная вспышка, и земля встала на дыбы. Взрыв ударил по ушам, по груди, по костям. Я упал на дно траншеи, прикрыл голову руками. Сверху посыпались комья земли, осколки, щепки от разбитых досок. Миномётный обстрел был плотным, методичным. Мины падали с интервалом в несколько секунд, перемалывая наши позиции в крошево.

— Держись! — крикнул мне в ухо Дюбуа, но его голос был едва слышен сквозь грохот.

Обстрел длился минут десять. Потом всё стихло. Эта тишина была хуже взрывов. Я знал, что она означает. Вьеты уже ползут по склону.

— К бою! — раздался крик капитана Бланшара.

Я поднялся, выглянул из-за бруствера. В свете ракет, которые взлетали с нашего поста, склон был виден как днём.

И он был чёрным от людей. Их были сотни. Они шли молча, волна за волной, как прилив.

— Огонь! — заорал я.

Наши пулемёты заработали одновременно. Трассеры прошили темноту. Первые ряды вьетов упали, скошенные огнём. Но следующие шли, перешагивая через тела. Они не бежали. Они двигались с той же неумолимой медлительностью, с какой вода заливают берег.

Я стрелял. Перезаряжал. Стрелял снова. Автомат дёргался в руках, как живой. Гильзы сыпались на землю, звеня. Я не целился. Просто направлял ствол в темноту и нажимал на спуск.

— Гранаты! — крикнул Ахмед.

Мы начали бросать гранаты через бруствер. Взрывы озаляли склон, и в их свете я видел искажённые лица, рты, открытые в крике, глаза, полные ненависти. Они были так близко, что я слышал их дыхание, хриплое, как у загнанных буйволов.

Первая волна достигла проволоки. Кто-то из вьетов бросился на неё, накрывая телом, чтобы его товарищи могли пройти. Это было страшно и величественно одновременно. Я видел, как человек в чёрной одежде, с лицом, измазанным грязью, раскинул руки и упал на колючую проволоку. Его тело задёргалось от разрядов, но он не кричал. Он уже был мёртв, но продолжал служить дорогой для живых.

Вторая волна прорвалась к траншеям. Начался рукопаш-

ный бой. Я оказался в самой гуще. Автомат был бесполезен на такой дистанции. Я бил прикладом, колол штыком, отбивался сапёрной лопаткой. Вокруг меня были только тени, которые наносили удары и исчезали.

Ахмед упал. Я видел, как вьет всадил ему штык в живот и повернул. Ахмед закричал. Этот крик до сих пор стоит у меня в ушах. Я бросился к нему, но было поздно. Вьет уже выдернул штык и повернулся ко мне. Я выстрелил в упор. Он упал, заливая меня кровью.

Не помню, сколько длился этот кошмар. Время потеряло смысл. Оно сжалось в один бесконечный миг, наполненный криками, выстрелами, хрустом костей и запахом смерти. Я убивал. Меня убить не смогли. Но что-то во мне умерло в ту ночь. Что-то, чему я не могу подобрать название.

К рассвету атака захлебнулась. Вьеты откатились, оставив на склоне ещё больше тел. Мы выстояли. Но какой ценой. Из моего взвода осталось двое: Дюбуа и я. Фан был тяжело ранен — осколок гранаты вошёл ему в бедро, перебив артерию. Он истёк кровью за считанные минуты. Ахмед умер сразу. Сенегалец, чьё имя я так и не выучил, погиб в рукопашной, сжимая горло врага.

Я сидел на дне траншеи, не в силах пошевелиться. Руки дрожали. Автомат лежал рядом, пустой и горячий. По лицу стекала кровь — не моя. Я поднял руку, чтобы вытереть её, и увидел, что пальцы не слушаются. Дюбуа сидел напротив, такой же измученный, с пустым взглядом. Он что-то шептал,

но я не слышал. Может быть, молился. Может быть, проклинал всё на свете.

И в этот момент я услышал голос. Он доносился откуда-то слева, из-за поворота траншеи. Голос звал на помощь. Голос был знакомым.

Пьер.

Я поднялся. Ноги не держали. Я пополз, цепляясь за стенки траншеи. За поворотом, у самого бруствера, лежал Пьер. Его лицо было белым, как мел. Под ним растекалась тёмная лужа. Он был ранен в живот. Осколок мины. Он прижимал к ране ладони, но кровь сочилась сквозь пальцы.

— Антуан, — прошептал он, увидев меня. — Я думал, ты погиб.

— Держись, — сказал я, опускаясь рядом. — Сейчас приведу санитаров.

Я оглянулся. Траншея была завалена телами. Дюбуа исчез — может быть, пошёл за помощью, может быть, просто ушёл. Я остался один. Один с раненым другом, в траншее, которая в любой момент могла быть атакована снова.

Пьер схватил меня за руку. Его пальцы были холодными и скользкими от крови.

— Не оставляй меня, — прошептал он. — Пожалуйста.

Я смотрел на него и чувствовал, как страх поднимается во мне, как вода в колодце. Страх не за него. За себя. Я знал, что если останусь, то погибну. Вьеты вернутся. Или снайпер добьёт. Я знал это. И это знание было невыносимым.

— Я схожу за помощью, — сказал я, отводя глаза.

— Не уходи, — прошептал Пьер. Его голос был слабым, как дуновение ветра. — Останься со мной.

Я молчал. Внутри меня шла борьба. Одна часть меня рвалась бежать, спастись. Другая — кричала, что нельзя оставлять друга. Но страх был сильнее. Он был как огромная волна, которая накрывает и тащит на дно. Я чувствовал, как он сжимает горло, не давая дышать.

Пьер смотрел на меня. В его глазах я видел не упрек, а что-то худшее — понимание. Он уже знал, что я уйду. Он знал это раньше, чем я сам решился.

— Иди, — сказал он тихо. — Иди, Антуан.

И я пошёл. Я поднялся и пошёл прочь, не оборачиваясь. Ноги несли меня сами. Я перелезал через тела, скользил по кровавой глине, падал, вставал и снова шёл. Я шёл и слышал за спиной его дыхание, которое становилось всё тише и тише. Пока не смолкло совсем.

Я не знаю, сколько я брёл. Время остановилось, как сердце Пьера. Я шёл по траншее, спотыкаясь, не разбирая дороги. В голове гудело. Перед глазами стояло его лицо — белое, спокойное, с каплями пота на лбу. Он знал. Он всё знал.

Я брёл по траншее, не разбирая дороги. Ноги несли меня сами, а голова была пуста, как выгоревший блиндаж. Где-то позади остался Пьер.

Траншея свернула, и я вышел на открытый участок. Здесь бой уже закончился. Тела лежали вперемешку — француз-

ские, вьетнамские, алжирские. Дождь смывал с них кровь, и они становились серыми, как глина. Я остановился, чтобы закурить, но руки не слушались. Сигарета выпала в грязь.

И тогда я увидел её.

Она стояла в десяти метрах от меня, у поворота траншеи. Маленькая фигурка в тёмной одежде, рядом на земле валялась брезентовая сумка, из которой вывалились бинты и пузырьки. Она, видимо, санитарка вьетов, потеряла свой отряд во время атаки, заблудилась в лабиринте траншей и теперь пыталась найти выход. Её глаза метались по сторонам, руки слегка дрожали. Она не видела меня.

Я стоял и смотрел на неё. Внутри поднималась волна — горячая, чёрная. Ярость на себя. На Пьера, который лежал в траншее и звал меня. На весь этот проклятый мир. И на неё. На эту девушку, которая была здесь, стояла живая, тогда как Пьер лежал мёртвый. Тогда как все они лежали мёртвые. Она была врагом. Она была частью той силы, которая убила Пьера, которая заставила меня бежать, которая превратила меня в то, чем я стал.

Я не думал. Я не выбирал. Руки сами подняли автомат. Затвор щёлкнул.

Она услышала. Обернулась. Увидела меня. Её глаза расширились. Она что-то сказала — я не слышал слов, только видел, как шевелятся губы. Она не кричала. Не бежала. Просто стояла и смотрела на меня. И в этом взгляде было всё, чего я не мог вынести: страх, мольба, недоумение. И что-то

ещё — то, что я не хотел видеть. То, что напоминало мне, что она тоже человек.

Я нажал на спуск.

Очередь прошла по её груди. Тело дёрнулось, отброшенное к стене траншеи. Рука, прижатая к груди, упала. Глаза остались открытыми, устремлёнными в серое небо.

Я стоял, глядя на неё. Автомат дымился в руках. Внутри было пусто. Ни ярости, ни раскаяния, ни облегчения. Только пустота, огромная, как долина Нашан, наполненная туманом. И где-то далеко, на самом дне этой пустоты, что-то оборвалось. Что-то, что уже никогда не вернётся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.